

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

I

Я человек несовременный – компьютером не пользуюсь, во всемирную паутину интернета не ныряю. А когда друзья удивляются и пожимают плечами – как ты, мол, живёшь без этого? – то говорю им, что в моей памяти хранится столько образов жизни, поступков, имён и событий, столько всяческих мыслей и картин истекшего времени, что мне успеть бы всё это имущество вытащить из сознания, из подсознания, из подкорки, уложить в слова, найти всему этому хаосу достойную оправу. А то ведь вместе со мной всё это пока что виртуальное богатство исчезнет аки дым, растает в небесах, растворится в подлунном мире.

“Нет, весь я не умру” – оно, конечно, так. Но лишь в том случае, если я всё успею сделать согласно русской поговорке: “Что написано пером – не вырубишь топором”.

Другая же поговорка, выражающая сущность всемирной интернетной болтовни, по моему убеждению, звучит так: “Вилами на воде писано”.

Примеры такого невежественного презрения к техническому прогрессу в русской литературе не новость. Ведь писала же Анна Ахматова:

*Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на всё свои законы
И, быть может, одичалый нрав.*

Вот почему, когда в начале 2011 года наш автор Сергей Ключников отправил на электронный адрес редакции беседу журналиста И. Панина с несостоявшейся женой Рубцова Людмилой Дербиной и со своей припиской: “Высылаю интервью этого чудовища с Игорем Паниным (который, между прочим, возглавляет отдел поэзии в “Литературке” и подаёт её здесь с явной симпатией). Она несколько не раскаялась”, – я не придавал этой беседе серьёзного значения. Ну что спорить с интернетом? Собака лает – ветер носит... Однако, когда я узнал, что беседа опубликована в “Независимой газете”, то задумался. Это уже “написано пером” и потому имеет другую цену.

В предисловии к беседе, приуроченной к 75-летию со дня рождения Николая Рубцова, “жюльнарист” (так называл их Виктор Астафьев) самонадеянно заявил: “Много мифов и легенд ходит об этой смерти, но мало кто пытался

объективно выслушать непосредственного свидетеля (! – Ст. К.) Людмилу Дербину. <...> Так повелось, что личностью и судьбой Дербиной интересовалась в основном жёлтая “пресса” да самозванные “защитники Рубцова”. Между тем она сама поэт, прозаик, человек талантливый и неординарный”.

Но первым же своим вопросом к Дербиной интервьюер задаёт лживый и провокационный тон всему разговору:

“Людмила Александровна! Недавно я услышал такую историю. Якобы Рубцов незадолго до смерти упорно работал над какой-то поэмой, считая это делом всей жизни. Принёс рукопись в “Наш современник” Станиславу Куняеву, а тот поэму разругал в пух и прах, после чего Рубцов её уничтожил и, решив, что исписался, практически перестал сочинять, всё больше погружался в пьянство и бытовые скандалы, что в итоге и привело его к гибели. Мне это рассказал один поэт, ссылаясь на слова Куняева”.

Вот яркий пример того, как создаются лживые мифы и сплетни. Принесли “рукопись в “Наш современник”, где Станислав Куняев своей властью решал судьбы поэтов и рукописей, Николай Рубцов не мог, потому что в начале 70-х годов главным редактором журнала был вологжанин Сергей Викулов, а Станислав Куняев тогда не был ни сотрудником, ни даже автором журнала... Он возглавил “Наш современник” лишь в 1989 году, через 18 лет после гибели Рубцова.

Жёлтый “жюльнарлист”, как говорится, слышал звон, да не знает, где он, потому что сам Станислав Куняев в книге воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия”, в главе “Образ прекрасного мира”, посвящённой судьбе и творчеству Рубцова, написал о том, как осенью 1970 года за несколько месяцев до смерти Николай Рубцов был у него дома и прочитал ему небольшую поэму “Разбойник Ляля”. Она не походила на лучшие стихи Рубцова, поскольку была эпической, и самого Рубцова в ней не было, о чём Куняев и сказал ему и добавил, что поэма “не лирическая”. А сказал так потому, что сам Николай Рубцов разделял все стихи (даже талантливые) на “лирические” и “не лирические” и первые ценил гораздо выше. Николай тогда даже не расстроился, услышав мои слова, и нечего газетному щелкопёру сочинять глупости, что я “разругал её в пух и прах”, что после этого Рубцов “уничтожил поэму”, “перестал сочинять” и “погрузился в пьянство и бытовые скандалы”.

Лживый вопрос порождает лживый ответ Дербиной: **“Если бы существовала такая поэма, то я, разумеется, знала бы о ней... не было ничего такого. Куняев очень много говорит лжи. Как-то я по телевизору увидела его беседу с тележурналистом Станиславом Кучером, и Куняев там сказал, что Рубцов бросил в меня спичку, а я подошла и его задушила. Видите, как всё просто у него получается... А ещё Куняев говорил, будто я ему неоднократно писала. Это неправда. Зачем мне ему писать и о чём? Пусть он предъявит эти письма, пусть обнародует их, если они у него действительно есть! Он говорил обо всём этом так, будто он истинна в последней инстанции... Он меня назвал леди Макбет! А как меня можно сравнивать с леди Макбет? Там замысел был злодейский, а в моём случае...”**

Журналист: – Трагическая случайность?

Л. Д.: **Мы на 8 января 1971 г. подали заявление в загс, хотели официально узаконить наши отношения, думали о свадьбе. И тут всё это происходит... Вы хоть представляете, что я почувствовала и чувствую до сих пор? Все эти сорок лет я на Голгофе!”**

Со дня смерти Николая в январе 1971 года в течение четверти века я никак не отзывался в печати и даже в своих воспоминаниях о Дербиной. Осудив её в душе, я как бы вычеркнул её из своей памяти, потому что считал, что кощунственно “вкладывать персты” в разверстую рану русской истории, а ещё и потому молчал, что исповедовал истину, живущую в русском народном сознании, которое считает преступление несчастьем, а преступников несчастными, поскольку они душу свою загубили... А к такому несчастью и добавить-то нечего, всё будет лишним.

Однако со временем для меня постепенно прояснялось, что Дербина не только не ужасается своего преступления, но даже чуть ли не гордится собой, посмевшей совершить нечто сверхчеловеческое, и в своих стихах отстаивает своё природное право на подобное “самовыражение”... И тогда я понял, что народное суждение о “преступлении – несчастье” к ней неприменимо.

А к 70-летию со дня рождения Рубцова она даже стала принимать приглашения и рассуждать на телевизионных подиумах об этой трагедии и сотворять о ней новый обеляющий её миф, что случилось в передаче у Малахова "Пусть говорят". Вот тогда-то я впервые согласился на телепрограмме "Совершенно секретно" встретиться со Ст. Кучером в передаче о Н. Рубцове. Про сюжет со спичками, который так разозлил Дербину, я вспомнил лишь потому, что сама Дербина подтвердила мои слова, когда на вопрос журналиста: **"А вот некоторые пишут, что никаких спичек, тем более зажжённых, Рубцов в вас не бросал перед самой развязкой, что, мол, Дербина это сама потом придумала..."** – запальчиво ответила:

– Конечно, Дербина всё придумала! Дело в том, что я ведь подмела эти спички-то, бросила в мусорное ведро...

Но, конечно, причину нервного срыва, овладевшего Дербиной, надо искать не в истории со спичками и не в рубцовой ревности, о чём говорила она на следствии. Причина зарыта гораздо глубже. И даже создатель уникальной, удивительной книги-энциклопедии "Рубцов. Документы. Фотографии. Свидетельства" недавно трагически погибший земляк Рубцова Михаил Суров, предположивший, что после милицейского отказа в прописке Дербиной и её дочери на рубцовой жилплощади *"терять Дербиной стало нечего. А значит, и терпеть дальше рубцовские "выходки" исчезла всякая необходимость"* ("Рубцов без квартиры ей был не нужен"), – был далёк от разгадки трагедии.

Людмила Дербина то ли с искренним, то ли с благородно разыгранным негодованием заявила журналисту "Независимой газеты" о том, что никогда не писала мне никаких писем.

Ну что ж. Значит, пришло время обнародовать эти письма, которые лежали в моём архиве много лет и остались бы там никому не известными, если бы не это надменное заявление подружки Рубцова.

Первое письмо от неё я получил через несколько лет после того, как она стала отбывать срок своей неволи. В этом письме она обращалась ко мне за сочувствием как к другу Рубцова и пыталась объяснить, что и почему случилось в ту несчастную ночь в рубцовой комнатке. К сожалению, письмо это не сохранилось, и я не могу ничего из него процитировать, но вспоминаю, что такие письма от Дербиной пришли не только мне. Их получили Анатолий Пердреев и Анатолий Жигулин, с которым мы однажды встретились и решили не отвечать ей, не вступать с ней в переписку. Не обвинять. Не оправдывать. Не сочувствовать. Не замечать. Как будто её не существует. Именно так мы тогда переживали гибель нашего друга.

Второе письмо я получил в феврале 1999 года, когда Дербина давно уже была на свободе и работала библиотекарем где-то в пригороде Ленинграда. Приведу его целиком, поскольку оно содержит важные подробности из жизни Николая Рубцова.

7/II 99 г. "Здравствуйте, Станислав!

Давно собираюсь написать Вам. И повод для этого был не один раз. Обидно было, что именно Вы, Ваш журнал напечатал шизофренический бред Коняева (№ 12, 1997 г.), но этот бред такой, что каждый здравомыслящий читатель, я думаю, всерьёз его не принял. На этом я и успокоилась.

В № 6 за 1999 г. в своих воспоминаниях "Поэзия. Судьба. Россия" в разделе, посвящённом Николаю Рубцову, Вы приводите отрывки из писем жительницы Барнаула Евгении Нифонтовны Кошелевой, адресованных Вам.

С Женей Кошелевой я переписывалась больше десяти лет, лет тринадцать. Почти все письма в целостности и сохранности. Представляете эту кипу? И почти все они – это размышления о Николае Рубцове, о его поэзии, его судьбе. Сейчас я тоже ничего не знаю о ней. Но ещё в начале восьмидесятых годов она сильно болела. Не знаю, жива ли она. Я очень ей благодарна. В неволе я жила её письмами, она была почти единственным читателем моих стихов. Но, конечно же, к некоторым её сообщениям надо относиться критически. Фантазёрка она ещё та. Вот в письме от 22/XII-73 г. Женя пишет Вам: "Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57 году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке..." Но этого не могло быть. В 57 году Рубцов бороздил морские просторы на своём эсминце. А на Алтае он был летом 1966 года.

В письме ко мне от 29/VII-73 г. она меня спрашивает: "Скажите, мог ли быть Николай Рубцов на Алтае летом (VI-VII) 57 г.? В каком году он вернулся из армии?"

Не думаю, что я могла ей ответить утвердительно. Коля ушёл в армию, во флот в 1955 году. А на флоте служили 4 года. Вот и считайте. Отпуск дали ему только через 3 года службы. Тая его не дождалась, вышла замуж. Так что тот юноша на пригорке, конечно, был не Рубцов. Женя тут выдаёт желаемое за действительное. А теперь, что окончательно меня подвигло на письмо к Вам, это гнусная лживая статья в "Труде" за 27/1 2000 г. Виктора Астафьева. Николай последние полгода вообще не общался с этой семейкой, они были в ссоре. А он пишет, что будто был у нас незадолго до 19/1. Представляет меня как грязную пьющую бабу. Это меня-то! Не был он и в больнице у Коли. Если бы он был, то Коля мне обязательно сказал бы об этом. Эту встречу Астафьев расписал бы, а тут: "Я его вызвал, он ко мне вышел". И вдруг с места в карьер Коля стал ему начитывать старые стихи. В общем, сплошная ложь.

У меня к Вам большая просьба. Я послала открытое письмо Астафьеву в газету "Труд". Посылаю и Вам. Ну, во-первых, пришипьте моё письмо, как и письма еврея Э. *, к 15-томному изданию "великого" писателя. Шучу, конечно.

А во-вторых, если "Труд" не напечатает, что вполне может быть, то напечатайте Вы, пожалуйста. Вы общаетесь с газетчиками и отдайте в любую газету, в какую считаете возможным. Я полностью полагаюсь на Вас. Николай любил Вас, часто вспоминал. Только и слышишь, бывало: "Стасик, Стасик..."

А я лелею надежду, что, может быть, тот патологоанатом, имя которого держат от меня за семью печатями, хотя бы перед смертью признается, что умер Николай от инфаркта сердца, а не от удушения. Экспертиза была фальшивая. Я уже не сомневаюсь.

Вот у меня и всё.

Желаю Вам творческих успехов, процветания Вашему журналу. Его очень любят люди, в библиотеке нашей его буквально — на разрыв.

С большим уважением к Вам

Людмила Дербина"

Письмо слишком серьёзное, чтобы его забыть, хотя с женщинами всё бывает.

Когда я прочитал письмо Д., обращённое к Астафьеву, то, честно говоря, мне впервые стало жалко её. И без того она живёт с непомерной тяжестью на душе от содеянного, а тут Виктор Петрович унизил её на всю страну, унизил сознательно, мелко и желчно. И, как я сам догадался, много присочинив. Я знал, что Астафьев в своих воспоминаниях ради красного словца не пожалеет ни мать ни отца. А тут какая-то случайная рубцовская подруга...

Вот почему после некоторых колебаний я исполнил просьбу Дербиной и передал её послание Астафьеву в руки В. Бондаренко, который был автором самой, может быть, резкой и беспощадной статьи "Порча" о Викторе Петровиче, нашем классике, человеке из простонародья, лауреате всех советских премий и Герое соцтруда, авторе знаменитого письма Натану Эйдельману, которым в 80-е годы зачитывалась вся русская патриотическая интеллигенция, писателе, с которым как с писаной торбой носилось партийное начальство сначала Вологды, а потом Красноярска, не зная, как ему угодить с квартирами и дачами, человеку, который обернулся таким антисоветчиком, что всем его друзьям-фронтовикам стало плохо от его ренегатства, потому что в последние годы жизни он обнялся с Ельциным, получил деньги на издание 15-томного полного собрания сочинений, куда, конечно, не вошло письмо к Эйдельману, и в конце концов поставил свою подпись под позорным письмом, одобрявшим расстрел ельцинскими холуями российского парламента...

Владимиру Бондаренке, как говорится, и карты были в руки. Он без колебаний напечатал 28 марта 2000 г. письмо Дербиной, в котором она вспоминает, что Коля Рубцов в сердцах однажды назвал Астафьева "обкомовским прихвостнем".

Газету "День литературы" после её выхода с письмом Дербиной я отослал ей в Питер, но от себя не написал ни слова, потому что всё, что она эти десятилетия говорила о роковой январской ночи, отталкивало меня либо фальшью, либо беспредельной гордыней. Она никак не могла найти единственно верных слов ни для себя, ни для мира, ни для Господа Бога. Поскольку

* Имеется в виду Н. Эйдельман.

ку “День литературы” опубликовал письмо Дербиной в сокращении, я публикую его целиком.

“МОСКВА Газета “ТРУД”

Открытое письмо писателю Виктору Астафьеву.

Виктор Петрович!

Давно приучаю себя не реагировать на камнепад клеветы, который сыплется на меня вот уже почти 30 лет. Да вот, не получается. Всё во мне восстаёт, хотя давно надо быть бы по-христиански смиренной и молиться за обидящих и ненавидящих меня.

Вот, наконец-то, и Вы публично высказались в газете “Труд” (27/1-2000 г.) и заклеили подлую убийцу Николая Рубцова. Я читала и не удивлялась, потому что давно поняла Вашу суть: Вы навеки уязвлённый человек, в Вас живёт неиссякаемая злоба на весь человеческий род, которому Вы всё мстите и мстите за пинки, которые некогда получили. Теперь-то, уж давно обласканному властями, осыпанному всеми возможными наградами и премиями, надо бы подобреть, если уж не милосердным, то хотя бы снисходительным быть к людям и их человеческим слабостям. Но Вы обязательно должны кого-то унижать, кого-то жестоко высмеивать, хотя бы походя, но куснуть, ужалить. Вы, как писатель, далеко идёте в художественном вымысле в своих романах. На то они и романы. Но художественный вымысел о конкретных людях может называться только одним именем. Ложь должна называться ложью.

Давайте-ка разберём Вашу статью “Гибель Николая Рубцова” и кое-что уточним в ней, поскольку я ещё живая и могу напомнить Вам то, что Вы с течением времени, может, и подзабыли уже. Ясно одно, что мне придётся защищать от Ваших, мягко сказано, “неточностей” не только своё достоинство, но и память Николая Рубцова.

Вы пишете, что были в квартире Рубцова накануне трагедии: “...Дома были оба и трезвые... – Когда сочетается-то? Они назвали число. Выходило, через две недели после крещенских морозов”.

Но Вы в январе 1971 года у нас не были. При мне в квартире Рубцова Вы были единственный раз в феврале 1970 года. Вы пришли к нам вечером в длиннополом пальто, в таких интересных сапогах, у которых голенища были, как валенки. Вы даже не разделись. Расстегнув пуговицы пальто, Вы присели на стул. Речь шла в основном о Вас, о том, какой Вы умудрённый жизнью человек, прошли войну, всё видели-перевидели, всё испытали и теперь уже на три аршина в землю видите всё. Минут через 15-20 Вы ушли, так и не встав ни разу со стула.

Естественно, что никакого диалога о сроках нашего бракосочетания быть не могло, поскольку в то время даже и речи не заводилось на эту тему между нами, т. е. между Рубцовым и мной. Заявление в загс мы подали 8 января 1971 года, а день бракосочетания нам назначили на 19 февраля, т. е. от крещенских морозов до этого дня выходило не две недели, а ровно месяц.

“Дома были оба и трезвые”. Сразу же делается акцент на то, что в квартире проживают двое пьяниц. У меня к Вам вопрос: “А Вы меня когда-нибудь видели пьяной?” Слава Богу, проблемы с алкоголем у меня никогда не было за всю мою жизнь.

“...Из неплотно прикрытого шкафа вывалилось бельё, грязный женский сарафан и другие дамские принадлежности ломались от грязи”. Более страшного оскорбления для женщины быть не может. Но у Рубцова в квартире шкафа никогда не было. Да и зимой 1970 года никаких моих дамских принадлежностей быть не могло. Мы жили раздельно, и я была в гостях у Рубцова, а все мои вещи, естественно, остались дома.

“...Изожжённая грязная посуда была свалена в ванную вместе с тарой от вина и пива. Там же кисли намыленные тряпки, шторы-задергушки на кухонном окне сорваны с верёвочки...” А когда это всё Вы успели рассмотреть своим зорким глазом, не вставая со стула? Через стену, что ли? И зачем посуду валить в ванную, когда есть на кухне мойка для этого? И зачем тару от вина туда же бросать? И намыленные грязные тряпки Вам глаза застили, и ни одного-то светлого пятнышка не было в этом вертепе. И всё это нагромождение грязи понадобилось Вам для того, чтобы притворно пожалеть бедного поэта и нещадно унижить меня: “Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему нянька иль мамка нужна вроде моей Марьи”.

Не знаю, как насчёт Марьи, но однажды в разговоре на житейские темы Рубцов сказал: “Астафьевы хотели выдать за меня свою Иркут”. Я изумилась: “Да полно! Это тебе показалось!” Он даже обиделся: “А чем я плох? Поэт, красавец, богач!”

Свою статью Вы начали с того, что встретили еле живого знакомого врача, который оперировал Николаю руку. Да, это врач по фамилии Жила, и Коля был очень ему благодарен за его уникальную операцию. Вы пишете, что навещали Колю в больнице и даже приносили ему гостинец – 2 огурца (так Вы пишете в письме к Старичковой) и почему-то уже 3 огурца (так Вы указываете в данной статье). Рубцов рассказывал мне, что его навестил Романов. Но о Вашем посещении он даже не заикнулся ни разу.

В письме к Старичковой Вы пишете (Источник: Николай Рубцов “Звезда полей”. Сост. Л. А. Мелков. М., Изд-во “Воскресение”, 1999 г. Стр. 592): “Я первый, принесё в больницу ему пару огурчиков (огородных), купленных в Москве, услышал стихи “Достоевский”, “В минуты музыки печальной”, “У размытой дороги”, “Ферапонтово” и ещё какие-то, сейчас не вспомню уж, которые он тут, в больнице сочинил и радовался им и тому, что я радовался новым стихам до слёз, и огурчикам первым он обрадовался, как дитя...” Ах, ах... Сколько радости!

Да вот нестыковочка получается, Виктор Петрович, и вот какая: все перечисленные Вами стихи были написаны уже давным-давно и все в разные годы: “В гостях” или по-вашему “Достоевский” – 1962 год.

“В минуты музыки печальной” – 1966 год.

“У размытой дороги” – 1968 год.

“Ферапонтово” зима – 1970 год.

В больнице Николай написал единственное стихотворение “Под ветвями больничных берёз”.

Как же так, Виктор Петрович?

Вообще при личных встречах с друзьями Николай стихи, тем более старые, никогда не читал. Ну, уж если сильно попросят. Он любил беседовать, юморить, что-нибудь смешное слушать. Ещё мне очень странно, что Вы даже не упомянули о его больной внешности. Как Вы упустили это, чтобы лишний раз не поиздеваться над его жалким видом в огромном синем халате, с шапочкой из газеты на голове? Создаётся впечатление, что Вы его вообще не видели. Во всяком случае, это не Ваш стиль.

Ваш стиль вот он: “...хамство и наглость, нечищенные зубы, валенки, одежда и бельё, пахнувшие помойкой...” Бр-р-р... Так мерзопакостно ещё никто Рубцова не живописал. Сколько же затаённо-жгучей иезуитской ненависти в этом описании!

“Люди-верхоглядые, “кумовья” по бутылке и видели то, что хотели увидеть, и не могли ничего другого увидеть, ибо общались с поэтом в пьяном застолье, в грязных шинках... бывало, и спаивали его, бывало, и злили, бывало, ненавидели, бывало, тягостно завидовали. И мало кто по-настойшему радовался. Радовались мы с Марией Семёновой...” Да-а-а... “Свежо предание...”

Во всяком случае, я точно знаю, что Вашему “радению” сам Рубцов не радовался. Он был с Вами очень осторожен. Разве могла обмануть его неизменно могучая интуиция, утончённая пронизательность истинного поэта? Любую фальшь он тут же замечал. Зная Ваш пиетет к высокому областному начальству, он Вас остерегался. Правда, однажды, не выдержав, сорвался, назвав Вас “**обкомовским прихвостнем**”. Вы же были с Рубцовым в длительной ссоре. Разве не так? Так что не надо лгать о Ваших якобы идиллических с ним отношениях.

Скажу более: мы с Колей в Вологде были изгоями. Если до меня его жизнь заполняли какие-то иногда случайные люди, было какое-то общение с собратьями по перу, то после встречи со мной всё это для него стало совершенно необязательным. Я заменила ему всех, увела от всех. Это было невероятное мученическое взаимопроникновение друг в друга. Наши миры соприкоснулись, и очарование было велико. Естественно, что мне не простили это тотальное завладение Рубцовым его “друзья”. А Рубцов нашёл во мне не только мощную обратную связь своим мыслям, переживаниям, но прежде всего женщину, красивую для него женщину. Он говорил мне: “Люда, ты так стройно живёшь, не пьёшь, не куришь”. В вопросе о женитьбе он был очень разборчив, даже крайне щепетилен. Осознавая свою драму пьющего человека,

на женщине пьющей и курящей, да ещё неряхе он никогда бы не женился.

Да, с нами стряслась беда. Не выдержала я пьяного его куража, дала отпор. Была потасовка, усмирить его хотела. Да, схватила несколько раз за горло, но не руками и даже не рукой, а двумя пальцами. Попадалась мне под палец какая-то тоненькая жилка. Оказывается, это была сонная артерия. А я приняла её по своему дремучему невежеству в медицине за дыхательное горло. Горло его оставалось совершенно свободным, потому он и прокричал целых три фразы: “Люда, прости! Люда, я люблю тебя! Люда, я тебя люблю!” Сразу же после этих фраз он сделал рывок и перевернулся на живот. Ещё несколько раз протяжно всхлипнул. Вот и всё. Буквально до последних лет для меня было загадкой, почему он умер. Но теперь я, наконец, поняла, что он умер от инфаркта сердца. У него было большое сердце. Во время потасовки ему стало плохо, он испугался, что может умереть, потому и закричал. Сильное алкогольное опьянение, страх смерти и ещё этот резкий, с большой физической перегрузкой рывок – всё это привело к тому, что его большое сердце не выдержало. С ним что-то смертельное случилось в момент этого рывка. После этого рывка он сразу весь обмяк и потерял сознание. Разве могли два моих пальца, два моих женских пальца сдавить твёрдое ребристое горло? Нет, конечно! Никакой он не удушеник, и признаков таких нет. Остались поверхностные ссадины под подбородком от моих пальцев, и только. А я тогда с перепугу решила, что это я задушила его, пошла в милицию и всю вину взяла на себя. Сказала это роковое для себя слово “задушила”. Делу был дан ход. Все вологодские писатели и Вы в том числе изначально отказались от меня. К сожалению, отказались и от правды. Вот тогда я и вспомнила слова Николая: “Если между нами будет плохо, то они все будут рады”. Все вы способствовали тому, чтобы меня засудили, не пожалели моего маленького ребёнка. Никто не возвысил голос в мою защиту. Даже ни у кого не было попытки разобраться в истинности случившегося. Ну, хорошо. Отбарабанила я почти 6 лет, туберкулёз лёгких заработала. Чудом выжила. С Божьей помощью выздоровела. Но меня не оставили в покое. Началась беспрецедентная травля, которая продолжается до сего дня. Вы, писатели, изначально оболгали меня, и эта ложь являет миру всё новые и новые версии “убийства” Рубцова. Договорились до того, что я агент КГБ, что я была подослана к Рубцову. Вот уже почти 30 лет нет предела глумлению надо мной. Ваша статья – неоспоримое свидетельство этого глумления. Но с таким высокомерным презрением, с таким цинизмом никто не врал ни о Рубцове, ни обо мне.

Да, я издала книжку своих стихов в провинциальном “райгородишке” Вельске. Неважно где, важно что. Знали бы вологодские, какой сюрприз я им преподнесу, и типографию разнесли бы по кирпичику. Но опоздали. Сильно не понравилась им моя “Крушина”. И на костре сжигали ритуально, и колючей проволокой сплетали. Но ещё рабочие типографии, прочитав в гранках мои стихи, в знак признательности сделали сами и подарили мне роскошный фотоальбом с дарственной надписью. “Крушине” посвящено более десятка стихотворений. Я получаю множество писем, люди плачут над моими стихами, **мои** стихи уже поют. О книжке стихов из “райгородишка” уже **давно знают** за океаном, в Америке. Ваша похвала меня, как поэта, что-то запоздала. Всё исходящее из Ваших уст для меня уже ничего не значит. О том, что я не бездарна, Вы знали ещё в 1969 году. Вы надеялись, что испытания, вами мне присуждённые, уничтожат во мне дар поэта. Но не вами он дан, не вам его и отнимать. Все эти годы вы намеренно замалчивали моё имя. **Вы ждали от меня покаяния. Я покаялась перед Богом. Три года исполняла епитимью.** За утренней молитвой всегда поминаю Николая. И во мне не перестаёт звучать его голос: “Что бы ни случилось с нами, как бы немилосердно ни обошлась с нами судьба, знай: лучшие мгновенья жизни были прожиты с тобой и для тебя”. А Вам я отвечу словами апостола Павла: “Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди... Судия же мне Господь”.

Мудрый человек Александр Володин, наш с Вами современник, как-то сказал: “Если у вас отнимут всё, живите тем, что осталось. Стыдно быть несчастливым”. А я добавлю:

*Не мил мне удел человека,
размолотого на корню.*

*Во всех унижениях века
достоинство сохраню.*

Людмила Дербина.

5 февраля 2000 года.
Санкт-Петербург”.

Меня тогда в письме покорило её утверждение о том, что она себя в состоянии аффекта оговорила, что Рубцов умер не от её рук, а от инфаркта. Но я подумал: мало ли что придёт женщине в голову – тем более оскорблённой.

* * *

Третье письмо от Дербиной я получил в апреле 2000 года вместе с книжкой стихотворений “Крушина” и с надписью: “Станиславу Куняеву на добрую память от всего сердца. Л. Дербина 25/IV-2000”. Я никогда ранее не видел её и долго вглядывался в молодую, видимо, фотографию: лицо скуластое, но выразительное, запоминающееся, большие глаза, чувственный рот, сильная обнажённая шея, украшенная крупными круглыми бусами. Не то чтобы красивая, но эффектная женщина. И письмо и надпись были сделаны старательным образцовым почерком учительницы или лучшей ученицы из провинциальной школы. Одного не пойму: как могла Дербина забыть, что посылала мне целую бандероль – копию второго письма Астафьеву, отправленного в “Новый мир” в ответ на его очередные воспоминания о Рубцове, опубликованные там же, личное письмо ко мне и книгу стихотворений “Крушина” с весьма признательной и нестандартной дарственной надписью. И название книги – “Крушина” – удачное и многозначительное. По крайней мере у Владимира Даля это слово растолковывается так: “Крушина (ж) хрупкое дерево, собачьи ягоды, берёза с чёрною, шершавою корою; медвежина; крушиной – хрушкой, хрупкий, ломкий” **“Один лишь древний дух крушины всё так же горек и уныл” (Н. Рубцов)**. Многие свидетельства и факты из жизни Николая Рубцова, присутствующие в новомировском ответе Астафьеву, будут интересны для историков литературы и поклонников поэта. Да и письмо ко мне (чтобы она о нём вспомнила, привожу его целиком) – документ откровенный, незаурядный и раскрывающий самые разные черты её характера.

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

Во-первых, спасибо за присланную газету. Я, конечно, уже купила 3 экзemplяра у Гостиного двора. Я благодарна Бондаренко, но не надо было выносить в заголовок “Обкомовский прихвостень”. В контексте это ничего, а тут какая-то обзывалка. У меня такое чувство, что меня использовала одна из враждующих сторон. А я ведь не знала, что Бондаренко ненавидит Астафьева. Ну, что есть, то есть...

В “Новом мире” ещё безобразнее текст. Я не удержалась, как могла, ответила. Один экз. посылаю Вам, конечно, там не напечатают. Да и возможно ли? В “Новом мире” сотрудники прочитают, ваше прочитают, и то хорошо. Купила ещё газету “Д. Л.” Прочитала В. Белова о Шукшине. Читала и мурашки бежали по коже. Какое счастье идти с Шукшиным по лесной тропинке целых 12 км! Вот если бы мне так! Я бы шла и молчала, а только слушала бы хруст еловых иголок под сапогами его и была бы счастлива. Шукшин приснился мне в самый момент своей смерти. Это было 2 окт. между 5-7 часами утра. Он полулежал в кресле-кровати в комнате с низким потолком. Я вошла и крепко поцеловала его в губы. Вдруг какой-то топот многих сапог бегущей толпы и крик мужчин: “Что ты наделала?! Что ты наделала?! Теперь всё кончено!” Вот такие чудеса. А 4-го я узнала из некролога в “Правде” о его скоропостижной смерти. Помню, больше месяца у меня слёзы лились из глаз сами собой, такие тихие слёзы. Если бы он был жив, и в моей жизни всё было бы не так. Он не дал бы меня в обиду на съедение коняевым. Он бы всё понял раньше других. Я ведь ему письмо написала в сентябре, кстати, на Ваш журнал. Не знаю, получил ли. Последние слова в письме были такие: “Живи-

те долго!” Он ведь приезжал в Москву незадолго до... Ой! Не хочется произносить это слово. Передайте от меня привет Ирине Ракше. Прочитала я её “голубка”. Плакала и удивлялась. Это ж надо транзитом из Москвы прямо на печку к Марии Сергеевне. Чудо!

Посылаю Вам **свою “Крушину”**. Надо бы новую книжку издать, но пока ещё не разбогатела. Спасибо, Станислав, за помощь в опубликовании письма моего. Вы человек слова. Спасибо.

Какую прекрасную книгу Вы написали о Есенине! Такую глубокую, одухотворённую, правдивую! Никто ещё о нём так не писал.

До свиданья. Всего Вам доброго, здоровья и творческих сил. А Бондаренко гонорар не платит?”

К сожалению, не платит, но об этом я не сообщил ей.

А вот и текст письма Дербиной в журнал “Новый мир”, насколько мне известно, так и нигде не напечатанного.

“ПИСЬМО

в редакцию журнала “Новый мир”

Уважаемая редакция!

Во втором номере Вашего журнала за этот год опубликованы воспоминания (“Затеси”) Виктора Астафьева о Николае Рубцове. Известный писатель Виктор Астафьев уподобился неприличному старому сплетнику с его скабрёзными побасенками. Фельетонный, развязно-насмешливый тон повествования оскорбляет память человека почитаемого и не просто почитаемого, но всенародно любимого поэта, которому воздвигнуто на Вологодчине уже два памятника. Если у писателя Астафьева не всё в порядке с нравственным чутьём, то куда же смотрела редакция такого серьёзного журнала, как “Новый мир”? Или теперь в наше абсурдное время всем всё позволено?

Я уже ответила Астафьеву открытым письмом, **которое опубликовано в газете “День литературы” за 28 марта с. г.**, на публикацию его статьи “Гибель Николая Рубцова” в газете “Труд” за 27 января. Повторяться бы не хотелось. Это моё письмо будет дополнением к предыдущему, но не исключено, что где-то и повторюсь. Заставило меня снова взяться за перо то, что в Вашем журнале ложь Астафьева явлена в ещё большем объёме и в ещё более разнузданной и циничной форме.

Так его, бедного, несёт без запинки и без остановки. Я уже не говорю о том, что Рубцов представлен, как убогий зомби, хотя это был умнейший человек. Свидетельство тому его гениальные стихи.

Но здесь особый случай. Здесь, что всего обиднее, прослеживается явная цель Астафьева путём инсинуаций намеренно выставить Рубцова в позорном виде. Впервые за 30 лет о Рубцове написали даже не просто без уважения, но как об отбросе общества, как о бомже, пропахшем помойкой. Надо совершенно не понимать природу поэта, чтобы унижать его бытом. Истинный поэт безбытен. И ему простится и его помятая рубашка, и нечищенные ботинки за тот свет и тепло, которое он несёт людям от своего чистого сердца.

Астафьев пишет, что будто бы навещил Рубцова в январе 1971 года, незадолго до трагедии. **НО ОН У НАС НЕ БЫЛ!** Последний из членов Союза писателей был у нас Александр Романов 30 ноября 1970 года. Спрашивается, для чего нужно было Астафьеву лгать? Для того, чтобы подробно “описать” страшную картину запустения и неряшливости в квартире Рубцова. Тут и моё грязное бельё вывалилось вдруг из шкафа, и в ванную он успел заглянуть и увидеть там посуду и тряпки, и бутылки – всё в одной куче. И столы обшарпаны, и шторки сорваны...

НО ШКАФА В КВАРТИРЕ РУБЦОВА НИКОГДА НЕ БЫЛО. Я как-то сказала ему: “Купи шкаф для одежды”. Он сразу же привёл в пример Михаила Светлова: “Вот и Светлову советовали шкаф купить, а он на это ответил так: “Мой костюм и на стуле повисит”. У Светлова, Люда, был всего один костюм. Зачем ему шкаф? Так и мне”. Свидетельствую, что ни мою постель, ни моё бельё писатель Астафьев никогда не видел, точно так же, как и я его. Оказывается, всю страшную картину запустения в квартире Рубцова потребовалось нарисовать для того, чтобы вынести “авторитетный” вердикт: “Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему нянька или мамка нужна вроде моей Марьи...” Вот надо человеку выхвалиться своей Марьей, и всё тут. Значит, кого-то надо унижить, а свою Марью возвести в образец. Марья Марьей, а однажды как-то

в разговоре Рубцов неожиданно сказал такую фразу, я привожу её в точности: “Астафьевы хотели выдать за меня свою Ирку”. Я изумилась:

– Да полно! Это тебе показалось! – Он даже обиделся.

– А чем я плох? Поэт, красавец, богач.

Начал серьёзно, а потом, как всегда, съехал на юмор. “Красавец и богач” были добавлены для смеха. Уж такой он был.

А я с Марьей Семёновной Корякиной совсем незнакома. 23 июня 1969 г. проездом из Воронежа я разыскала и навестила Колю. В этот же день он повёл меня к Астафьевым. В комнате мы были втроём: Астафьев, Рубцов и я. Где была Марья Семёновна, не знаю, но к нам в комнату так ни разу и не зашла. Примерно через полчаса мы ушли. Я видела Марью Семёновну в Вологде всего один раз в притворе дверей её квартиры осенью 1970 года. Коля пошёл отдать долг Марье Семёновне и уговорил меня идти с ним. Я только что приехала из своей деревни, застала Колю уже одетым в пальто и во хмелю, стала его отговаривать, но он заупрямился и всё тут. Идти мне с ним не хотелось, но пошла. Вероятно, это был октябрь, стояла непролазная грязь, у дома, где жили Астафьевы, во дворе некуда было поставить ногу. В мои резиновые полусапожки чуть-чуть не заливалась серая жижа. Вот и пришлось подняться по лестнице в грязной обуви. Рубцов позвонил, дверь открыла Марья Семёновна, но впускать нас не торопилась. Взгляд её испуганно-неодобрительный остановился на наших грязных сапогах. С чувством стыда я тут же немедленно сбежала вниз по лестнице этажом ниже и встала у окна на лестничной площадке. Рубцова всё ещё держали у притвора, я невнятно слышала их разговор, наконец, Рубцов вскричал: “Могу я, наконец, войти в этот дом, чтобы отдать долг?!” Голоса сразу же переместились за дверь, а минуты через две Рубцов, как ошпаренный, выскочил и, кособочась и громко топая, стал спускаться по лестнице, обиженно бурча и чертыхаясь. Так и не пришлось мне познакомиться с Марьей Семёновной, и теперь понимаю, что это для меня хорошо. Не та грязь, что на ногах твоих, но та грязь, что в сердце твоём.

Что же пишет Астафьев? “Разика два парочка эта поэтическая появлялась у нас... Рыжая, крашенная, напористая подруга Николая не поглянула на Марью Семёновну, да и мне тоже. Жена моя попросила Рубцова не приходиться к нам больше с пьяной женщиной...” Господи! Суди клеветников по правде твоей! Да нет, господа Астафьевы, как сухое говно к стенке не прилепить, так и вам из меня пьяницу не сделать! Я всю жизнь веду не просто здоровый, но, можно сказать, аскетический образ жизни. Потому и выжила, и выживаю, и ни к кому с протянутой рукой не хожу. Я всю жизнь работала от звонка до звонка, ветеран труда, медаль имею, в библиотеке Академии наук СССР работала старшим редактором в отделе научной обработки литературы. Какой это скрупулёзный кропотливый труд, требующий предельного внимания и высокого профессионализма, знают только те, кто был допущен к этой работе, только избранные библиотекари.

И я невольно задаюсь вопросом: откуда у четы Астафьевых такая изначальная ненависть ко мне, в чём я им дорожку перешла? Предположений всяких много...

Я уже 20 лет с 1980 года живу снова в Петербурге, в городе, где я родилась. А вот Астафьев пишет, что я “всеми гонимая на земле женщина, наедине живущая в глухой болотистой Вологодчине”, и лицемерно просит милосердного Бога, чтобы он не оставлял меня вовсе без призора... Никто меня никуда не гонит, а “гонит” и клеветает на меня разная окола и мелкокалиберная литературная сволочь, которая делает на моём горе деньги и хочет сделать себе имя, что весьма безуспешно. Я не отвечала им. Но вот уже и тяжёлая артиллерия ударила по мне, тут я не удержалась, отвечаю. И дело тут не в моей гордыне и тщеславии. Тут страшно и цинично позорят Рубцова, оскорбляют его память. С упоением завираясь, Астафьев даже не замечает, как сам попадает в нелепое положение. Вот диалог между Астафьевым и Рубцовым:

– Ты чего, Коля?

– А я деньги получил из Москвы за книжку “Зелёные цветы”.

– Много?

– Ой, много!

Но сборник стихов “Зелёные цветы” вышел в 1971 году уже после смерти Рубцова.

А вот ещё:

– На, питайся витаминами, может, поумнееешь?
– А я уже и так умный. Стихи пишу, несколько штук уже написал. Хочешь, прочитаю?

И он прочитал “Ферапонтово”, “Достоевский”, “У размытой дороги”, “В минуты музыки печальной”...

Будто бы все эти стихи Рубцов написал во время пребывания в больнице в июне 1970 года и первым, кому их прочитал, был Астафьев, якобы навестивший его в больницу. Но эти стихи **БЫЛИ УЖЕ НАПИСАНЫ ДАВНЫМ-ДАВНО И ВСЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ**. Что это? Маразм, что ли?

Для Астафьева мы всего лишь “гулевая парочка”. Да уж, погуляли мы, бывало! Никто не знает, никто не видел моих слёз. Сколько их выплакано? Да и у Рубцова на глаза постоянно навёртывались слёзы. Я свидетельница Колиного отчаяния, его мук, его безысходности и боли за судьбу России. Он не заботился ни о чём личном, довольствовался малым, больше жалел других людей, чем себя. Что скрывать? Себя он считал пропащим, не мог побороть в себе это роковое пристрастие к спиртному. Мне он сказал как-то: “Люда, ты так стройно живёшь. Не пьёшь, не куришь”. Для меня это было моё всегдашнее естественное состояние, а ему это казалось великой добродетелью. Разве я могла спокойно наблюдать, как на моих глазах пропадает человек? Потому и в ЗАГС с ним почти согласилась, тащила его, как могла, из этого омута. Много было всяких драматических моментов и однажды случилась трагедия. То, что это случилось и случилось в самое Крещение, для меня такая же загадка, как и для всех. Но что случилось, то случилось. Но до конца жизни я буду защищать имя Николая Рубцова от клеветников, которым “не дано подняться над своей злобой”. Разве по “жалости природы” может так мерзопакостно глумиться над гениальным поэтом тот, который “радовался его стихам до слёз”? “В дырявых носках выйдя из-за стеллажей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бескультурье, доказывал, что лучше Тютчева никто стихов не писал...” Вот так. И откуда торфяники-то взялись? Впервые узнаю, что жила я, оказывается, на торфоучастке в торфяном посёлке в полугнилом бараке с дырявой крышей, с перекосившимися пыльными рамами в окнах. О, Боже, да что же это такое? Ни одного слова правды!

Вероятно, речь идёт о посёлке Лоста. Но я там никогда не жила. Ну, а если бы и жила в посёлке торфяников в полугнилом бараке. Что тут зазорного-то? Почему у господина Астафьева такое презрение к торфяникам? Да у нас пол-России по баракам жили и живут. Да и сам Астафьев половину жизни прожил в бараках. Это потом уже в Вологде по дружбе с высокими партийными чинами ему пожаловали роскошные апартаменты бывшего секретаря обкома. А я жила в деревушке Троица. Некогда там стояла церковь святой Троицы, но её разрушили, а сейчас и сама деревушка исчезла с лица земли. Осталось только кладбище.

Стихотворение Рубцова “Уже деревня вся в тени” – это о Троице. “И мы с тобой совсем одни!” – это последняя строчка. Мы, действительно, всегда были одни. Мы в Вологде были изгоями. Никуда меня Рубцов не таскал, ни по квартирам, ни по редакциям, ни по мастерским художников, как пишет Астафьев. Мы были однажды за трое суток до трагедии у друга Николая Алексея Шилова и провели там замечательный вечер у этих добрых людей. Вот и всё.

Мы ни разу не были на “дружных гулянках творческих сил” и ни разу не были приглашены на встречу этих творческих сил с читателями. Тогда я не задумывалась над этим, а теперь понимаю, что это не было случайностью. Вот и сейчас, конечно, через великую силу назвал меня Астафьев даровитым поэтом. Но подленькое в нём пересилило, и он выискал строчки, которые якобы изблещают во мне “волчью суть убийцы”. Разорвал одно из сильных моих стихотворений “Люблю волков”, изъял всю середину-сердцевину стихотворения, даже знаки препинания у оставшихся обрывков оставил на месте далеко не все. Что это? Да, самый настоящий разбой! Ну, ничего. Пусть он гонорар получит за мои горькие строчки. А я думаю, что мои дела не так уж плохи, раз меня “поливают” в таком уважаемом журнале. А ещё думаю, что данные “Затеси” Астафьева журнал не очень-то украшают, всего скорей компрометируют как произведение злобное и насквозь лживое. В конечном счёте Астафьев опозорил не нас с Рубцовым, а показал ещё раз своё червоточное нутро. В чужом глазу соринку видит, а в своём и бревна не видно. Как-то ещё очень давно поэт Александр Романов даже стихи посвятил пирушкам в Овсянке.

*В Овсянке в доме тётки Нюры
такие шаньги на столе,
что не сдержат натуры-дуры:
ОПЯТЬ СИДИМ НАВЕСЕЛЕ...*

Да, вот уж, воистину, не та грязь, что на ногах твоих, но та грязь, что в сердце твоём!

Людмила Дербина, 24 апреля 2000 года
г. Санкт-Петербург.

Ярость, с которой Дербина бросается на Астафьева, неподражаема и не фальшива. Но зря она на меня огрызнулась, что я сравнил её с леди Макбет. Ведь я сказал, что они похожи характерами, а не преступлениями. Как тут не вспомнить стихотворенье Юрия Кузнецова, восхищавшегося шекспировской героиней с окровавленными руками:

*За то, что вам гореть в огне
На том и этом свете;
Поцеловать позвольте мне
Вам эти руки, леди.*

А ведь шекспировские страсти — дело нешуточное. Они в протоколы допросов и решения судов не вмещаются.

Впрочем, то, что Д. зря обиделась на меня за сравнение с леди Макбет, мне стало окончательно ясно, когда я нашёл на своих полках её сборник “Крушина” и наконец-то прочитал его.

II

Я действительно был приглашён в 2006 году на телевизионную программу “Совершенно секретно”, и мы в течение часа разговаривали с ведущим Станиславом Кучером о литературной и житейской судьбе Николая Рубцова. Я помню, что на вопрос журналиста о том, как могло случиться, что женщина, которую Рубцов собирался назвать женой, убила его, нетрезвого, слабого, тщедушного, я ответил, что, конечно, она его любила, но в ту роковую ночь у них произошла катастрофическая размолвка, во время которой Дербину, разведённую жену, мать-одиночку, видимо, надеявшуюся на семейную жизнь, на женское устройство судьбы, вдруг осенило страшное прозрение, что ничего толкового с Рубцовым у неё не случится, что он не из тех мужчин, которые могут даровать женщине благополучие, уют, защиту, уверенность в завтрашнем дне, что он и сам-то, по словам поэта Виктора Коротаева, из породы созданий, которые “долго не живут”. А когда такие чувства вспыхивают как чёрные молнии в разочарованной и оскорблённой душе, то несчастья не миновать.

Однако сейчас, по прошествии уже сорока лет после гибели Рубцова, я понимаю, что подобное объяснение январской трагедии слишком уж просто.

Любимым поэтом Рубцова был Фёдор Тютчев. Зная об этом, я в середине 60-х годов подарил Рубцову, который в те дни заехал ко мне домой, изящное, старинное — конца XIX века — издание стихотворений Тютчева в атласном переплёте, украшенном серебряным шитьём, отпечатанное на жёлтой веленовой бумаге, с надписью: “Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали”. Эту книгу Рубцов, несмотря на свою бездомную жизнь, сохранил, не потерял, и сейчас она лежит под стеклом в музее поэта в деревне Никола. Особенно любимыми из этого сборника у Рубцова были стихи “Брат, столько лет спутствовавший мне...”, которое он даже положил на музыку и самозабвенно исполнял под гитару, и стихотворенье “Любовь, любовь — гласит преданье”... Тогда он ещё не был близок с Дербиной, но, видимо, это гениальное стихотворенье волновало его каким-то пророческим для его собственной судьбы смыслом:

*Любовь, любовь — гласит преданье, —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,*

*И роковое их слиянье,
И... поединок роковой.*

*И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...*

Самоотверженные женщины любили Тютчева и Достоевского не за плотскую статью (которой у них не было), не за талант и не за литературную славу. Они благоговели перед своими избранниками за то, что чувствовали, какой сверхчеловеческий мужской подвиг послушания и преданности своему призванию вершат эти люди на протяжении всей жизни. Это женское благоговение может быть в какой-то степени сравнимо с чувствами женщин, окружавших Иисуса Христа и боготворивших его за готовность к самопожертвованию, которую они прозревали своими сердцами. Недаром же Василий Розанов писал в “Апокалипсисе нового времени”: **“Талант у писателя съедает жизнь его, съедает счастье, съедает всё. Талант – рок, какой-то тяжеляющий рок”**.

Талант съел жизнь Гоголя и Лермонтова, Тютчева и Блока, Есенина и Цветаевой, Рубцова и Юрия Кузнецова. И меньше всего в их судьбах виновато время, государство, общество и прочие внешние силы...

“И не она от нас зависит, а мы зависим от неё”, – писал Николай Рубцов о власти поэзии над его собственной душой и судьбой. Маленькая трагедия “Моцарт и Сальери” завершается великим вопросом о совместности гения и злодейства. Пушкин не рискнул ответить на этот роковой вопрос утвердительно, потому что знал: творчество может служить и добру и злу, потому что один талант ощущает в себе Божью искру, а другой – вспышки чадающего адского пламени. Светлые таланты, как правило, осуждают грешную сторону своей тварной природы, а тёмные восхищаются ею. Пушкин бесстрашно осуждал грешную половину своего “я”:

“И с отвращением читая жизнь свою, / я трепещу и проклиная”, впадал в отчаянье, что не может избавиться от искушений лукавого:

“Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам; так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий”.

Лермонтов, страдая от капризов тёмной стороны своей природы, тоже искал спасения на сионских высотах и в евангелических истинах:

*В минуту жизни трудную,
теснится ль в сердце грусть,
одну молитву чудную
твержу я наизусть.*

Или вспомним его молитвенное – “Когда волнуется желтеющая нива”. А великое стихотворенье “Выхожу один я на дорогу”, где поэт выразил мечту о жизни души после плотской смерти и которое стало чуть ли не безымянным явлением народного творчества!

Николай Рубцов был светоносным поэтом. Свет – основная стихия, в которой растворены его мысли и чувства, его образы русской северной жизни.

“В горнице моей светло – это от ночной звезды”,

“Светлый покой опустился с небес”,

“Светлыми звёздами нежно украшена

тихая зимняя ночь”,

“И счастлив я, пока на свете белом

горит, горит звезда моих полей”,

“Снег освещённый летел вороному под ноги”.

Пригоршнями можно черпать из поэзии Рубцова свет солнца, свет звёзд, свет луны, свет воды, свет снега, свет души.

*Сколько мысли и чувства и грации
Нам являет заснеженный сад!
В том саду ледяные акации
Под окном освещённым горят.*

И если в его стихах присутствуют ночь, мрак и мгла, он всегда пытается высветить, очеловечить и одушевить их.

*Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков
И свет соседнего барака
Ещё горит во мгле снегов.*

Даже с баракком, с его почти нечеловеческими условиями жизни Рубцова примиряла поэзия.

Его родина – это страна разнообразного света, переходящего в святость.

*Но пусть будет вечно всё это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил.*

Но в “роковом поединке” его светлому, воздушному, духовному созерцательному миру противостоял совершенно другой мир. Как в трагедии Пушкина “Моцарт и Сальери” в светлый мир Моцарта вторгается “виденье гробовое, внезапный мрак”, так и в светлое царство Николая Рубцова в роковой час вторглась тьма иного мира, тьма ее стихов:

*“по рождённым полночным травам
я, рождённая в полночь, брожу”;*

*“Но в этой жизни, в этом мраке
какое счастье наземь пасть”;*

*“Душа, как прежде, жаждет света,
Но я, как зверь, бегу во мрак”...*

Уникальность вологодской трагедии в том, что расследование дела было бы точнее и успешнее, если бы им занимались не милицейские следователи, а исследователи стихотворных текстов, которые сразу бы поняли, почему случилось то, что случилось. Они безошибочно установили бы мотивы трагедии. Но тогда бы и приговора не было, поскольку за поэзию не судят... Тьму – естественную, природную, животрепещущую, утробную – можно теми же пригоршнями черпать из книги “Крушина”. А поскольку её создательница – поэт со своей натурой и своим талантом, то приходится признавать подлинность этой тьмы, живущей в её стихах...

* * *

При всей любви к Тютчеву Рубцова отталкивал тютчевский “угрюмый тусклый огонь желанья”, его любовь была нематериальна, как воздух.

*И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких...*

Не случайно же, что у него, написавшего столько стихотворений о “любовной тоске” в юношеские годы, нет ни одного стихотворения, рождённого во время жизни с Дербиной.

*Ну и пусть! Тоской ранимым
мне не так уже страшно быть,
мне не надо быть любимым,
мне достаточно любить.*

Их поединок начался, когда в ответ на рубцовское завещание:

*До конца, до смертного креста
Пусть душа останется чиста —*

его избранница отвечала:

*В душе таинственной и тёмной
Вовеки не увидеть дна,
Душа, что кажется бездонной,
До глубины своей темна.*

Рубцовское любовное чувство — доверчивое, безыскусное, простодушное, почти детское, очищенное от животной похоти и расхожего секса, не могло выдержать столкновения с чувством женщины — тёмным, волевым, ревностным, эгоистичным, хищным.

*Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.*

(Как тут не вспомнить лермонтовское — “но странную любовь”!)? Какая трогательная, какая одухотворённая стихия неосознанной, неискушённой любви живёт в этих строчках, как и во многих других:

*Наивная! Ей было не представить,
Что не себя, её хотел прославить,
Что мне для счастья надо лишь иметь
То, что меня заставило запеть.*

Всю беззащитность и обречённость своего любовного чувства, рождённого на грешной земле, Николай Рубцов гениально выразил в стихотвореньи “Венера”.

*Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела,
Там любовно над бледным прудом
Драгоценная блещет Венера.*

*Жил однажды прекрасный поэт,
Да столкнулся с её красотой.
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездой!*

*Но Венеры играющий свет
Засиял при своём приближенье,
Так что бросился в воду поэт
И уплыл за её отраженьем...*

*Старый пруд забывает с трудом,
Как боролись прекрасные силы,
Но Венера над бедным прудом
Доведёт и меня до могилы!*

*Да ещё в этой зябкой глуши
Вдруг любовь моя — прежняя вера —
Спать не даст, как вторая Венера
В небесах возбуждённой души.*

О том, что это стихотворенье было особенно важным для него, свидетельствует тот факт, что оно имеет, кроме окончательного варианта, приведённого выше, ещё два. В одном последняя строфа после строчки “доведёт и меня до могилы” читается так:

*Ну так что же! Не все под звездой
Погибают — одни или двое?
Всех, звезда, испытай красотой,
Чтоб узнали, что это такое!*

Строфа поистине пророческая по отношению к себе. Второй же вариант имеет шесть строф. Первые три строфы полностью совпадают с тремя строфами главного варианта, но четвёртая строфа рисует наглядную картину жизни после гибели поэта, бросившегося навстречу любовному соблазну:

*Он уплыл за звездою навек...
Призадумались ивы-старушки,
И о том, как погиб человек,
Горько в сумерках плачут кукушки.*

Пятая строфа повторяет строфу из окончательного варианта, но зато шестая (лишняя!) вдруг потрясает читателя не метафорическим, а живым открытым чувством поэта, самозабвенно бросившегося навстречу “играющему свету” Венеры, навстречу своей гибели:

*Столько в небе святой красоты!
Но зачем — не пойму ничего я —
С недоступной своей высоты
Ты, звезда, не даёшь мне покоя!*

Из этого трагического восклицания можно понять, что “играющий” свет Венеры, “доводящий до могилы”, и “святая красота” небес — струятся из разных источников мироздания. Загадку о том, когда было написано стихотворень “Венера”, — до романа Рубцова с Д. или после, я оставляю разгадать литературоведам.

А добавить к сказанному могу ещё то, что у Сергея Есенина, одного из самых любимых поэтов Рубцова, есть строчка: “Ах, у луны такое, — светит — хоть кинься в воду”, и что Есенин, по воспоминаниям современников, узнал о трагическом поединке поэта с небесным светилом из стихотворенья классика древней китайской поэзии Ли Бо. И последнее: в третьем варианте строка “так что бросился в воду поэт” — выглядит иначе: “что звезде покорился поэт”... Не просто был соблазнён её светом, но покорился ей, словно злоеющей силе.

* * *

Любовь его “соперницы-Венеры” жила по своим законам, а вернее, по законам не только языческого дохристианского, а даже недочеловеческого мира.

*“Я по-животному утробно тоскую глухо по тебе”;
“Что ж! В любви, как в неистовой драке,
я свою проверила стать!”*

“Как жгучей глухой полынью, тобой я тогда отравилась”,

*“Он видел бездну, знал, что погублю?
И всё ж шагнул светло и обречённо
С последним словом: “Я тебя люблю!”*

“Светло и обречённо” — честнее о Рубцове не скажешь, надо отдать должное нашей “волчице”, для которой любовь была не самопожертвованием, а борьбой за своё место под солнцем (Венерой) и неизбежно должна была окончиться либо гибелью, либо пленом побеждённого. Если бы Д. умела читать его стихи, то, возможно, навсегда исчезла бы из жизни поэта. Но понять такое было выше сил дочери Венеры, верившей в другую правду:

*“Что добродетель? Грех? Всё сказки, всё сущий вздор!
Есть только жизнь!”*

Да, это была внушавшая Рубцову суеверный ужас её жизнь, с “животной неизречённостью”, которой она гордилась. “Опять весна! Звериным нюхом я вдруг почуяла апрель”; “Я, как медведица, рычу”; “Как лесная огромная кошка, у которой звериная прыть”; “тебе, любимый, до скончанья дней хочу быть верной, как волчица волку”; “язычница, дикарка, зверолов, ловка, как рысь,

инстинкту лишь послушна”; “всей звериной тоской Зодиака и моя переполнена грудь”; “Как быстро кончались знакомства, когда в моих рысьих глазах природное вероломство внушало знакомому страх”...

Глубочайшая тайна жизни у доисторических племён и народов скрывалась в крови. Венцом жертвоприношений, драгоценным даром тотему и покровителю рода считалась кровь, стекавшая с жертвенника.

Перебирая в памяти стихи Николая Рубцова, я не смог вспомнить, чтобы в них где-нибудь встречалось страшное слово “кровь”. Слово “смерть” присутствует часто. А слова “кровь”, видимо, он избегал. Но в книжке “Крушина” оно повторяется во всевозможных ипостасях многие десятки раз. “Кровью брызнет в суземь заря”, “с мятежным напором в крови”, “всё в мире тяжело, всё темнокровно”, “Узнала сердцем, кровью, кожей” и т. д.

Впрочем, понятие “кровь” всегда значило гораздо больше, нежели просто слово (“что с кровью рифмуется, кровь отравляет и самой кровавою в мире бывает” — А. Ахматова, любимая поэтесса Л. Д., о слове “любовь”). Я сам много думал об этом и, пытаясь объяснить самому себе тайны этой соКРО-Венной, сКРЫтой во тьме горячей и солёной сущности, однажды (давным-давно) написал короткое стихотворенье.

*Не ведает только дурак,
что наши прозренья опасны!
Как дети прекрасны и как
родители их несуразны.*

*Измучены жизнью, вином,
с печатями тлена и фальши,
не мыслящие об ином,
чтоб выжить хоть как-нибудь дальше.*

*А рядом комочек тепла
витает в блаженной дремоте,
не ведая зла и добра...
Как странно — он тоже из плоти!*

*Как будто природа сама
твердит нам устами любви
о том, что сиянье и тьма
повенчаны узами крови.*

* * *

Меня мало интересует то, что поэты говорят в своих интервью, на телевизионных подмостках, в гневных письмах и мемуарах. Я верю тому, что они говорят в стихах. А в стихах Д. говорила и мечтала не о загсе, не о свободе, не о судьбе дочери, а о другом: о безраздельной власти над своим избранником.

Светлый и беззащитный мир поэта был обречён рухнуть перед грубым напором этой тёмной силы. “Ты зачем от меня не бе-жа-ал?!” — вот какой вопль вырвется из её груди, когда она осознает, что произошло непоправимое.

И напрасно “женщина-рысь” огрызается и рычит на своих гонителей: “Зовут пантерой и медведицей, ужасною волчицей злой, додумались и до нелепицы — назвали дамой козырной!”. Все звериные клички она дала себе сама. К её счастью, одной, самой страшной и рискованной, никто из её “хулителей” не воспользовался.

*Я топтала рассветные травы.
Из-под ног снегирями зори взлетали.
Ради горькой моей славы
люди имя моё узнали.
Я — чудовище! Полулошадь!
Но мерцают груди, как луны.
Моя жизнь — это скорбная ноша,
насмешка злая фортуны.*

Не знаю, вспомнила ли Д., когда писала стихотворенье “Монолог женщины-кентавра”, что у Рубцова есть стихотворенье о встрече с лошадей глубокой ночью. И в том, что и он и она написали эти стихи, есть что-то мистическое, словно бы вечное продолжение их рокового поединка. Николай Рубцов избегал тёмного мирового пространства, исполненного слепых и неподвластных человеку сил, и в этом был близок к Фёдору Тютчеву с его противостоянием хаосу: “ночь хмурая, как зверь стокий, глядит из каждого куста”, “и бездна нам обнажена с своими страхами и мглами”, “о, страшных песен сих не пой про древний хаос, про родимый”. Рубцов страшился беззвёздного и безлунного мрака, “шипящих змей” и “чёрных птиц”.

*Когда стою во мгле —
душе покоя нет
и омуты страшней,
и резче дух болотный.*

“И вдруг очнусь — как дико в поле! Как лес и грозен и высок”.

Бывали мгновения, когда, будучи не в силах очеловечить животную тьму, он в страхе отступал в сторону:

*Мне лошадь встретила в кустах,
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь Вам —
С одной мыслью к домочадцам,
Что лучше разным существам
В местах тревожных не встречаться.*

Жаль, что стихотворенье о полулошади-полуженщине Д. написала после смерти Рубцова, а то, прочитав его, он, может быть, послушался бы своего предчувствия: “что лучше разным существам в местах тревожных не встречаться”.

Сначала мне было странно сознавать, что у женщины из деревенского советского простонародья в душе было столько гордыни, что после преступления она стала ощущать себя на пьедестале. Она поистине “не отличала славы от позора”. “Моя судьба надменно высока”; “в гордыне моей темнокровной”; “но только помни, помни — в горе/опора лишь в самой себе, /в своём невысказанном позоре, /в своей невысказанной судьбе”...

*Пусть под свист и аплодисменты
упаду я, но в тот же миг,
о душа моя, крылья легенды
понесут твой немеркнущий лик.*

Потому и на судебный процесс она смотрела как на жалкий фарс, недостойный её имени и её деяния. В стихотворенье “Суд” она смеётся над людским правосудием, её кровь, её природа, её воля, как ей кажется, выше ничтожной и пошлой юридической казуистики:

*Ударил в лицо, как из дула,
толпы торжествующей вой,
и я отрешённо качнула
отпеты своей головой.*

*В тюрьму? О, как скучно и длинно
гудит этот весь балаган!
В тюрьму? Ну а если невинна,
Как в гневе своём океан!*

В этих стихах есть признание преступления (пере-ступить!), но не вины. Из акта судебно-психиатрической экспертизы от 9.III.1971 г.

“Сожалеет о случившемся. Понимает всю тяжесть своего поступка, но полностью виновной себя не считает и то, что произошло, называет “смертельным поединком”.

В первое время после приговора Д. ещё была способна с предельной искренностью воскликнуть:

*Что натворила! Отреклась
в порыве ревности жестокой,
и жизнь моя оборвалась
на ноте гибельно высокой.*

А ревность её была особой – не к какой-то земной сопернице, а к нему самому, якобы желавшему силой взять её душу, пленить её, сделать подвластной себе... Она не понимала одного: “в борьбе неравной двух сердец” в жертву будет принесено более беззащитное, более открытое и неспособное к ненависти и сопротивлению сердце поэта, писавшего свои стихи, в отличие от неё, “неоскорбляемой частью души” (слова М. Пришвина о поэзии).

Она отторгала от себя его мир. Как отторгает телесная ткань вторжение чужеродного организма. Но если это так – то можно ли судить ткань за то, что в ней живёт и действует инстинкт самосохранения...

*Краски дня были слишком резки,
и в глазах моих, в сини накала
не заметил ты грозной тоски,
дерзновенного бунта начала.*

Из стихотворенья, которое начинается строчкой: “Невозможно, чтоб ты одолел, покори́л меня всю безраздельно”.

* * *

Конечно же, предположение М. Сурова о том, что Рубцов стал “не нужен” Дербиной и что она перестала “терпеть его выходки” лишь потому, что ей с дочерью местные власти “отказали в прописке” на рубцовскую жилплощадь, несерьёзно и даже унизительно для Д. При чём здесь прописка, если она, судя по её стихам, всю свою творческую жизнь примеряла на себя роль “роковой женщины”, играющей мужскими судьбами?

*Когда толпа шпыняет мне в бока,
когда через меня куда-то рвутся,
моя душа, надменно высока,
мне не велит за всеми вслед рвануться.
Когда глаза, мои глаза шалят,
намеренно волнуя плоть мужскую...*

На пути к этой соблазнительной власти Д. легко перешагивала через прошлые свои романы.

*А что мне брачные обеты,
пусть ветер обвенчает нас;*

или:

*Но при муже мне быть не место,
мне счастливою быть не гоже...*

Женское тщеславие, опиравшееся на талант, вскружило ей голову настолько, что она уверовала в свою безраздельную власть над поэтом и, сов-

сем уже впад в горячее состояние от успешного исполнения роли, решила, что поэтическое бессмертие – вот оно, рукой подать!

*Поэзия? Не всем поэтам верьте,
Где боли нет, есть легковесность слов.
Как тот солдат, поэт идёт в бессмертье
Тяжелой поступью стихов.*

*Мятежный демон — вдохновитель битвы
раскинет вновь два сумрачных крыла
над головой моей непобеждённой...*

До встречи с поэтом Д. понимала, что

*ни расторопной ласковой жены,
ни жрицы муз, что жаждет громкой славы,
как посмотрю, не вышло из меня.*

Но тут судьба предоставила ей, разведённой жене, матери-одиночке с дитем на руках, последний шанс добиться этой славы.

Убийство навсегда связывает убийцу с жертвой. И мечется погибающая душа, ища утешения и поддержки то в припадках отчаяния:

*Как мне кричали те грачи,
чтоб я рассталась с ним, рассталась!
Я не послушалась (молчи!) —
И вот что случилось... Вот что случилось...*

то в приступках признания в посмертной любви —

*Как страшно! Но я ведь любима
была и любима сейчас,
поэтому неуязвима,
неуязвима для вас.*

* * *

Но “роковой поединок” закончился ужасным, пошлым и самым что ни на есть унижительным исходом.

Из протокола допроса от 29. I. 1971 г. гр. Грановской Л. А., которая, изобразив картину ссоры и драки, возникшей между ними ночью, завершает свои показания так:

“Он всячески оскорблял меня нецензурной бранью, унижал меня: стал ломать руки, плевал на меня, бросал в меня спичками”, “я схватила его за горло и стала давить его”;

“мы упали оба на пол. Я схватила Рубцова за волосы. Каким-то образом я оказалась наверху. Рубцов протянул руку к моему горлу. Я схватила руку Рубцова своей рукой и укусила. После этого я схватила правой рукой за горло Рубцова двумя пальцами и надавила на горло. Рубцов не хрипел, ничего не говорил <...> Мне показалось, что Рубцов сказал: “Люда, прости! Люда, я люблю тебя. Люда, я тебя люблю”. Я взглянула на Рубцова и увидела, что он синееет. Рубцов ещё, кажется, вздохнул, и затем затих <...> Я поняла, что Рубцов мёртв”.

Из дополнительного допроса от 18. III. 1971.

“Ненависть к Рубцову, копившаяся длительный период времени, вылилась наружу. Меня взбесили его слова о любви. Я думала — то убью, то люблю! Убить Рубцова я не хотела”.

Из справки, составленной со слов секретного агента (“источника”), имевшего на тюремной прогулке разговор с Грановской:

“Источник спросил: “Люда, ты мужа своего сама убила, зачем, не жалко теперь его тебе?” На это Грановская высказала недовольство и ответила: “Я бы его и ещё раз убила. Всю жизнь мне сломал. Пьяница. Никчёмный человек. Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за меня вступятся, и за границу тоже знают. Вспомнят ещё Людмилу Дербину”. Можно только удивляться, что хо-

лодные, натуралистические, жестокие описания поступков Рубцова и поэтические посмертные разговоры с ним написаны одним и тем же человеком и одной и той же рукой.

*Ничего в этом мире не исчезает.
Тихий свет этой горестной отчей земли
В твоих строчках рассеян и нежно мерцает,
И звездою полей ты восходишь вдали...*

*Мир и любовь между нами,
Друг мой, уже на века!*

*Но чудный миг! Когда пред ней в смятенье
Я обнажу души своей позор,
Твоя звезда пошлёт мне не презренье,
А состраданья молчаливый взор...*

*Я стою и молчу средь шумливого люда,
И всё кажется мне, что на том берегу
Вдруг появишься ты вон оттуда, оттуда!
Я наверно, к тебе по воде побегу...*

*Промолчи о мгновенье, в котором
Ты и я были только вдвоём,
Промолчи — пусть мне будет укором
То гнездо, что с тобой не совьём...*

Обнялись, будто сёстры, опять наши души...

Чему же верить — протоколам или стихам? А может быть, и тому и другому? Протоколы живут по своим законам, а стихи по своим. У каждого жанра своя правда. У одного бытовая, грязная, низкая. У другого — вдохновенная, высокая, очистительная. В протоколах Д. вспоминает всё худшее, что было у неё с Рубцовым. В стихах — всё лучшее.

* * *

За сорок лет со дня смерти Николая Рубцова наш мир изменился неузнаваемо. Нынешнее общество превращает в мерзкое шоу любую трагедию. Это становится возможным лишь тогда, когда люди перестают отличать добро от зла, славу от позора, когда совесть и стыд выветриваются из душ человеческих.

Вот почему Л. Д., постепенно превратившаяся в юбилейные рубцовские даты на голубом экране и в жёлтых СМИ чуть ли не в телезвезду, стала рассказывать о событиях января 1971 года совсем иначе, нежели это отображено и в протоколах, и в стихах. Она отказалась от роли женщины-рыси (волчицы, кентавра, медведицы и т. д.), отмела все свои надежды на Божий Суд, забыла все свои показания во время следствия и в стенах вологодского суда, понимая, видимо, что высокая трагедия не по зубам аудитории Малахова, а низкие протоколы допросов унижают и Рубцова и её вместе с ним. И тогда Л. Д. примерила на себя новую и чрезвычайно удобную для нынешнего телеобывателя маску женщины, случайно оговорившей себя и несправедливо оклеветанной молвой. Тут она и озвучила на всю страну версию (26.6.2008 г. на Первом канале) о том, что Рубцов погиб от инфаркта, что она стала жертвой заговора со стороны друзей и почитателей Рубцова, а заодно со стороны следователей, прокуроров, судей и даже патологоанатома, давшего лживое заключение о причинах смерти поэта. И как это ни абсурдно — версия эта была принята какой-то частью нашей творческой интеллигенции. Но это всё равно, как если бы следователь Порфирий Петрович поверил бы Фёдору Раскольникову, что тот замахнулся топором, а старушка отпрянула да и поскользнулась и головой ударилась о каменный порожек. И Раскольников бы добавил:

— А вначале я сам себя из-за гордыни оговорил.

Конечно, куда достойней было бы, если б всё, что случилось, осталось в нашей памяти как преступление, совершённое из-за предельного накала чувств, от любви до ненависти, с обеих сторон.

Стихи, написанные Д. в состоянии вдохновения, покаяния и гордыни одновременно, тогда бы не девальвировались и могли вызвать сочувственный отклик во многих душах и даже восхищение перед силой чувства — “а если это ураган!”

Придумав же якобы смягчающую её вину версию об инфаркте, Д. сама второй раз перечеркнула и опустила свою судьбу. Более того, она загубила слабые побеги жалости к себе, как к человеку, совершившему невольное преступление, которое в русском народном сознании раньше называлось “несчастьем”, а преступники “несчастливыми”.

Гений и злодейство — две вещи если и “несовместные”, то рождённые равновеликими стихийными силами, живущими в человечестве.

Стенька Разин хотя и злодей, но, по словам Пушкина, является “единственным поэтическим лицом в русской истории”.

Но увы! Показания, данные на допросах, всегда можно изменить, заявить, что они даны под давлением или в сумеречном состоянии сознания, или при помутнении памяти.

Но стихам, которые вырываются если не из души, то из утробы с предельным накалом, не верить нельзя.

*Быть, право, стоит виноватой
с виной иль вовсе без вины.
Быть стоит проклятой, распятой,
прослыть исчадьем сатаны.
Но надо самой полной мерой
своё отплакать, отстрадать,
постичь на собственном примере
всю бездну горя, чтоб сказать:
— Прошедшие без катастрофы,
мой час возвыситься настал.
Не сомневайтесь, крест Голгофы
весьма надёжный пьедестал!*

Какая была бы легенда про её сорокалетнюю Голгофу, какой апофеоз её судьбы! Одно только она забыла, что на голгофских крестах, кроме Иисуса, висели ещё двое — убийца и разбойник. Один из них, закосневший в своей гордыне, сказал Спасителю: — Если ты сын Божий, спаси себя и нас!

* * *

Сколько всяческих знаменитых убийц и жертв обрели вечную жизнь в мировой литературе! Помимо Раскольникова и старушки-процентщицы — Отелло и Дездемона, которая его “за муки полюбила”, а он её “за состраданье к ним”; Сальери, отравивший Моцарта и до сих пор изнемогающий от вопроса: “совместны” ли “гений и злодейство” или несовместны? Парфен Рогожин, окаменевший над телом Настасьи Филипповны.

А ещё, конечно, надо вспомнить безымянного конногвардейца, убившего свою возлюбленную из баллады Оскара Уайльда о Редингской тюрьме. Поэт произнёс одну из самых страстных речей в истории человечества с оправданием смертного греха убийцы.

*Ведь каждый, кто на свете жил,
любимых убивал,
один — жестокостью, другой
отравой похвал,
коварным поцелуем трус,
а смелый — наповал.*

Но ведь это всё литература! Мы воспринимаем её как жизнь благодаря всего лишь навсего таланту сочинителей! А могила на Вологодском кладбище — совершившаяся правда! Процитировал я стихи Д. о Голгофе и, как вологодский судья, произнёс: — виновна! Но прочитал стихи изломанного жизнью декадента и грешника Оскара Уайльда, и жалость к несостоявшейся музе Николая Рубцова шевельнулась в душе. Несчастливая...

(Окончание следует)